

ПРИЛОЖЕНИЕ
<ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСЕЕ РЕМИЗОВЕ>*

О. Е. Колбасина-Чернова

В первый раз я услышала имя Ремизова осенью 1905 года – год революции “в самую кипь русского символизма”, как напишет впоследствии Алексей Михайлович в посвящении одной из своих книг.

Но первая встреча была не с ним, с его рукописью. Неужели от руки, спрашиваю себя оторопело?

Аккуратно скрепленные листы большого формата глянцевиной бумаги, поля с двух сторон широкой рамой оформляют текст.

Заглавие – Ч А С Ы.

Строчки идут как печатные, строгими рядами, красивый и необычный шрифт, одно непрерывное движение пера, как мне показалось сначала – всмотревшись увидела интервалы и буквы полуустава 17-го столетия и все-таки осталось впечатление непрерывности. Начертания букв с нажимом и взмахами пера, выносящими за пределы строки разветвления, как в скорописье старинном.

Подпись “Алексей Ремизов” особенная, затейливая, с росчерком одним выдохом, идет от буквы К в Алексее – клубится легкими кольцами ввысь – вот-вот кончится тончайшим острием наверху и вдруг непонятно заворачивает, опускается и замыкает имя воздушно очерченным магическим кругом.

Притягивающий, оплетающий узор. Какое усердие и сила, но и какая легкость и сколько веселья, особенно в подписи – вот мое первое впечатление.

* Текст воспоминаний печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в Собрании Резниковых (Париж).

И первая мысль: как же такое напечатать? Как быть с узором, с нажимом и усиками?

У меня еще живы в памяти лекции Булича на курсах и “Палеографический Изборник” с образцами письма. Полуустав – старообрядческий, поморский, скоропись XVII, XVIII века. Но нет, совсем не скоропись, такой не встречала нигде. Ни Московская, ни Киевская и никакой полуустав. Это свое письмо, выработанное неизвестным Алексеем Ремизовым по старым начертаниям, но собственное и особенное.

К тому же все старинные рукописи окостенели мумийно, как вещи, найденные в раскопках. А эта запись живая, неудержимым наплывом бегут решительные, определенные и только в заглавных и в подписи игра, линии взвиваются и пляшущим взлетом уносятся ввысь.

Никогда еще такой рукописи не держала в руках. Кто же он – этот Алексей – от буквы К росчерк – Ремизов, откуда у него это чудное, такое не современное письмо?

Принес ее для просмотра Виктор Чернов, мой муж, он был редактор газеты “Дело Народа”. В эти бурные месяцы партия Социалистов-Революционеров начала выпускать ежедневную политическую газету с воскресным литературным отделом, в котором я работала.

– Интересная и очень странная вещь, – сказал Чернов. Мои коллеги единогласно отвергли – “декадентщина”, но литературным отделом заведую я и я колеблюсь.

Весь вечер читаю, не отрываясь.

Беспорядочно неслись мысли и учащенно билось сердце – повесть сразу захватывала, нравилось, волновало, но и отталкивало.

Наседал чудовищный быт, душило смрадом, не хватало воздуха. Тупые тиски зажимали и хотелось отбиваться и кому-то запальчиво, криком крича, возражать: не могу, не при-ни-маю. Отодвигала рукопись, нетерпеливо перелистывала страницы – буквы не разбегались во все стороны, строчки шли ровными рядами, но не прыгали, не свивались жгутом, рука автора была крепкой, и не срывалась.

Попробую восстановить то первое впечатление.

Меня угнетал этот слишком реально изображенный с мучительными подробностями густой, липкий “тараканий” быт русской провинции. Недаром у отца – когда-то грозный глава семьи – “в голове завелись тараканы”, голова полна тараканьих яиц, так что пёрло – чувствовал из глаз уж высывались тараканьи усы. Страшный старик – притворщик и развратник. “У – жену ты свою отравил, поганый, – прокликает его в своем сердце невестка, – Беззубый слюнявый рот, вытарщенные глаза и эти

гадкие руки”. “С одышкой и задыханием, хрипящий и что-то клокочет в груди”. Жадный к еде, пальцами хватает из коробки сардинки, заливает маслом халат. Безжалостный, скупой и жестокий, в неопрятной старости омерзительно жалкий.

В судорогах болтаются слепые люди. Обиды, нескончаемые обиды не заживают. По живому – еще и еще, громоздятся одна на другую.

Сын Костя, подросток, урод с кривым носом и косыми глазами. “Как ни прятался всякому в глаза лез – они не упускали случая подразнить и посмеяться над уродом”. Торчащий на сторону нос не давал покоя –

“И падали на голову обиды, насмешки, и всякие прозвища. Ползли обиды, ципали за баншыком, ползли за ворот под рубашку, там кусали грудь –

Там прокусили грудь, слились в гадкую пъявку. Обиды-пъявки сосали сердце”.

– “Этого идиота на свет вывел,” – проклинала старика в своем сердце невестка. И все вокруг: идиот носатый! Не идиот, нет, но физическое уродство обрекло на поругание, задерганный, засмеянный уродами нравственными – других не было -- озлобленный на всех, на весь мир, в самозащите ненавидел, искал выхода –

Страшный быт, русский быт глухих углов – без света, не воздух – тараканий запах яиц. Нет жалости: измывайся над слабым, бей до полу-смерти, калечь, заушай –

Неизвестный автор четким кремнёвым почерком, воздушным полетом росчерка всколыхнул густое болото и вот оно зачавкало – пучит и чмокает. – “земля, как и вода имеет газы” и пузыри земли – страшные, зловонные, пучеглазые, повыскочив, утвердились на поверхности и губят все живое.

Болотный воздух удушает. Но сама природа восстает – в смрад и запах гниения врывается стихийный ритм бури, могучее и живительное дыхание –

“Бесилась метелица, распевала песни –

В нашем царстве

Мы белые, черные ночью

Будем петь и летать

Не замолкнем

Серебристо-пышно затканы, унизаны четким алмазом – вольные, чистые, цепкие –

В нашем царстве

Мы другие, бессмертные –
Мечемся, мечем печаль
Свищем, горкуем, не знаем дороги –
Те, кому жизнь не красна, горюны, горюваны,
нас зовите, горе зовите, горе горюйте, горе хвалите –
Оно не заплачет.

Разгоним невзгоду, призарим, запоем на заре в три звонких, в три
голоса,

Тоску растеряем по полю, по лесу –
Мы облегчим ему боль –
Бесилась метелица – пела – нет над ней власти”.

Метелица перехватывает, уносит, очищает, “снежными пушистыми
крылами” покрывает и кровь и грязь.

И как бы восстановлена высшая справедливость – стихийная справедливость природы, и раздвигая тупые тиски страшного быта врывается стихийный ритм и дает передышку напряженному соучастию в “ужасе перед человеком”, как чувствует один из гибнущих героев.

Болото засасывает, гибнут все, у кого еще душа живая. И беззащитный мальчик – подмастерье, и меньшая дочь, гимназистка “милая бедная Катя” и невестка Христина Федоровна – первая в городе красавица, жена старшего сына, безвольного, слабого – засосало и его, он запутался в долгах и бежал из дому, от безысходности, от банкротства и отчаянья – оставил жену в затянувшейся петле. Помощи неоткуда, жалости нет – все двери закрыты перед теми, кто в беде.

Гибнет и тот, кто бы мог поддержать Христину Федоровну, на кого надеялась, полюбила. А мог бы – он выше всех окружающих, с умом и сердцем, просвещенный. Как будто и он поверил в любовь – но “наперекор согревающему свету заговорила вся накипевшая боль” жестокой, беспросветной жизни. Умирали слова от скорби – всё вокруг распадалось, вот, в сомнении, он идет по безлюдной улице – не может разобраться в своих чувствах, сжимаются тиски.

“Снежная пыль, рассыпаясь, звездно неслась”.

“Ветер страстно пел, не жалуясь, не горюя –
– Любите, Любите!

И кто-то внезапно окликал, пропадал, и снова слышался голос,
И мчались, нагоняя кони –
Любите! Любите!

И завязалась борьба, – схватились силы –
Любишь?!

– Я люблю ее.

И опять этот бешеный храп – казалось мчались – нагоняли кони
И звездный свет трепетал по стенам, на камнях, и у него в глазах
Чего ты хочешь?

Дух захватило

Звезды и ветер

Любите! Любите! Настаивает ветер –

Повторяется, как заклинание Любите. – Но как любить в чавкающем болоте? Как любить где смрад и грязь? Как поверить?” Опозорил он, оклеветал все незапятнанное, отверг доверчивый взор, как лукавство, подслушал в боли притворство и видел уж одну гадость, одни помои, одни ямы жизни.

“И рос ужас перед человеком, перед самим собой”.

Болото засасывает, единственный, который мог спасти, гибнет, наложив на себя руки, хотя что-то трепетавшее еще в душе не стало сдаваться.

“Мир не может стать иным, и люди не могут дальше жить не изменившись”.

Тикали-тикали часы и бежало время и стихийный ритм его, но непреклоннее в своем спокойствии натиска метелицы уводит уносит куда-то над бытом и гуцей болота.

Когда в тоске Христина Федоровна сжимала руками пылающие виски, и хваталась за сердце – “золотой маленький маятник старинных часиков бегал – дрожал, как живчик, весенней дрожью”.

А в доме, где спали или мучились без сна, все одинаково несчастные и потерянные.

“Неумолимо ходили невзрачные пыльные часы в тяжелом стеклянном футляре”.

“И маленькие часики на тумбочке у кровати “милрой бедной Кати” тикали, ей все казалось она могла бы по этим чуть внятными звукам, по этим брызжащим голоскам – пробраться в такую глубину и там всё увидеть – они ее примут, они возьмут, они поведут ее”.

И когда пришел час – увели в небытие.

У Кости свое: каждый день он взбирается на колокольню заводить часы, по которым жил город и он возненавидел время, которое приносит

только обиды и муки – “часы владеют сменой и посылают и дни и ночи – всё от них – эта тьма и ад”.

Навязчивая мысль овладевает им –

“Он убьет время, проклятое! проклятое! проклятое!

Убьет время – освободит себя и мир –”

Убьет и будет всемогущ. – “Ты не Костя Клочков, ты Костя Саваоф – захочешь и звезды попадают с неба, захочешь погаснет солнце”.

На колокольню он поднялся в последний раз. Схватив железный прут “зацепил стрелку и повел вперед”. “Хряснула, звякнув, сломанная стрелка, мелькнул голубой огонек – канул в вечность.

Больше нет невозвратного

Больше нет ожидания

Больше нет времени!”

Так думает Костя на вершине безумия – куда вырвался из болота.

Но часы бьют и часы не выбив положенного бьют. Не знают срока –

– Мы тоже не знаем, что будет завтра, что вчера было, где мы будем, где мы были, кто завел нас, кто поставил, кто назначил на эту неизвестную жизнь, бездорожье”.

– Ну что, одолели эту декадентчину? – спрашивает на другой день [А. И. Гуковский], соредатор Чернова, – Поняла что-нибудь?

– Непонятного нет, – возражает Чернов, – тьма крошечная, тяжелый быт, как у всех наших писателей – Успенский, Островский, Горький –

Но это с вывертом, у этого как его – Ремизова что ли, – такое накручено, вот дайте рукопись, открываю наугад: “звенела брань, клевала в темя, пихала в живот” – ну что на это скажете?

Я говорю – это образно и стильно –

За чайным столом сидела молча совсем молодая девушка в узенькой темной кофточке с высоким воротом, она не принимала участия в разговоре, но иногда непонятно улыбалась и тогда опускала глаза и раснела – видимо, разговор задевал и ее, но за кого она?

Разгорелся спор – русский спор:

– Это муть, муть, – горячился всегда спокойный [Гуковский] редактор – ему понравилось это слово и он повторял его и нервно листал чудесную рукопись – а вот это: “хрундучал старик”?

– Очень даже хорошо, – возражали мы. Это слово с легкой руки Гуковского вошло в обиход семьи – выражая недовольство: хрундучу!

– А это “напихтёривался пихтёря”, – тоже хорошо и понятно? Да? Что скажут наши читатели? Это же ломка русского языка!

И вдруг девушка, загадочно молчавшая, тихим голосом: нет, ломка всего уклада – там где-то сказано люди не могут дальше так жить – вы же тоже хотите всё изменить... Она смешалась и не кончила фразы.

Гуковский бушевал – “вы говорите Островский, Успенский, но там тяжелая реальность, быт, а здесь муть ползет изнутри, вот у него герой – единственный интеллигент, разъеден изнутри, разлагается, какой-то декадент-упадочник. И часы и метелица всё не просто, а какая-то символика, к чему это, а вы говорите Островский!”

“И погрузился Костя в ту тьму и безумье – откуда не выходит ни единого голоса”, – вспомнила я, и, в этот же мрак погрузился автор, но оттуда подает нам голос, – и мы слышим его – самое ценное для нас – голос оттуда, может быть, не совсем понятный. Да, автор идет дальше и глубже реального. Мне почудилось, особенно ясно теперь, во время спора выяснилось несколько планов, в которых я еще не совсем могла разобраться.

Что же это? Кто же он, этот Алексей Ремизов? [Новый нарождающийся Достоевский?]

– “Все-таки можно частично пустить подвалом, – говорит Чернов, – если согласится –”

– “Что только скажут читатели?” – перебивает Гуковский.

– “Этот сумасшедший декадент,” – не унимается добрейший Александр Исаевич, обычно вежливый и благожелательный.

Девушка смеется.

Рукопись осталась у меня. Напечатать не удалось. Революция была подавлена, свободы кончились, журнал закрылся.

Вскоре мы выехали за границу – рукопись я взяла с собой. Я могла бы разыскать в Петербурге автора, да и адрес, наверно, был, но я зато-ропилась, мы спешно переехали сначала в Финляндию, и дел и хлопот было много. Но может быть главное, что рукопись как будто заворожила меня, подсознательно мне не хотелось с нею расставаться.

Она осталась для меня загадкой.

Как совместить этот четкий кремнёвый почерк – усердный, мудрый и любовный труд летописца и это вздыбленное содержание, где всё корчится от муки, всё рождает протест и гнев и боль за человека замученного, задавленного, “мир не может не измениться” и спрашиваешь себя – когда же, когда?

Неужели творил и переписывал один и тот же человек?

И только впоследствии, когда я узнала Алексея Михайловича Ремизова, я поняла тайну этого, как мне казалось, противоречия. Ремизов сложный, противоречивый и все-таки цельный в своей многосторонности. Кремнёвый путь его жизни извилистый – тяжкий путь не заводит его в тупик – он сверкает и светится и побеждает набегающую тьму. Свет от самой глубинной глубины, от самого последнего, или предпоследнего плана, там внутри светящийся кремень, цельный, не расщепляемый упор его воли и вот откуда его почерк.

Как гофманский Орешек Кракатук – никакая беда не разгрызёт, никакой огонь, ни самый добела раскаленный, не расплавит. Сильный, как дух русского народа – вот откуда его почерк, откуда и крепость, и затейливость, и игра.

<1957>